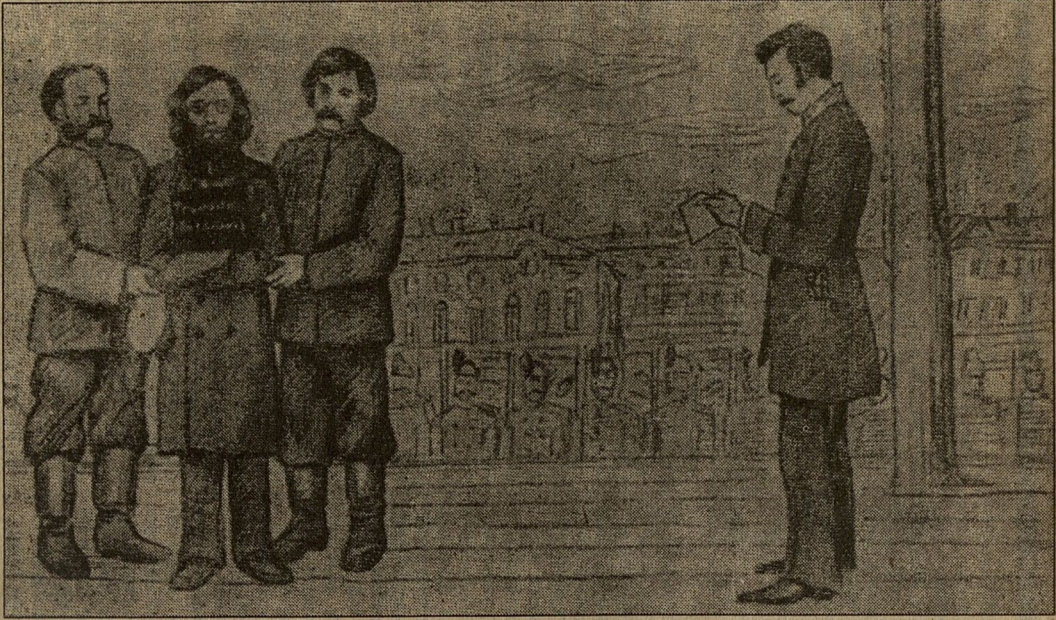


АЛТУРА

164

Виктория Шохина

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал.
За героев его, за его идеал.
Старая студенческая песня



Обряд гражданской казни на Митинской площади в Петербурге. 19 мая 1864 г.

Рисунок Т.Н. Гиппиус

бедность»... С одной стороны, его «поразило и развеселило допущение, что автор, с таким умственным и словесным стилем, мог как-то повлиять на литературную судьбу России». Но с другой, — «он понемногу начинал понимать, что такие люди, как Чернышевский, при всех их смешных и страшных промахах, были, как ни верти, действительными героями в своей борьбе с государственным порядком вещей, еще более тлетворным и пошлым, чем их литературно-критические домыслы, и что либералы или славянофилы, рискующие таким образом, ставили тем самым меньше этих железных забияк»... Так развивается тема подвига.

О стилистических (эстетических) разногласиях Набокова с Чернышевским сказано уже много; на другой аспект — как Набоков оценивает личность и судьбу своего героя, — внимания обращалось куда меньше. Между тем оба этих аспекта (две сторо-

добряка, легко всыхивающего, легко отлекаемого в сторону...» Вот Николай Гаврилович, «крошечка мел, чертит план заседаний Конвента». Эта страсть к планам и схемам сродни страсти уже профессора Набокова (тоже довольно рассеянного; любившего нарисовать подробную схему вагона, в котором ехала Анна Каренина, или план комнаты Грегора Замзы). И еще подробность, заботливо выловленная Набоковым и, наверное, гревшая ему душу: в саратовской семинарии Николая «прозвали «дворянчик», хотя он и не чууждался общих игр.

«Чистейший Чернышевский», — с искренним сочувствием восклицает автор, когда герой его берется за описание общинной любви, у него — по неискушенности — выходит натуральный бордель. Отмечает наблюдательный биограф и «классовый душок» в отношении к разночинцу Чернышевскому дворян Турге-

без конца устраивают какие-то бебеге, но все без толку. Оба не илут ни на какое сотрудничество с палачами (властями). «Покайся, Цинциннатик... Что тебе стоит... Ну, покайся, не будь остолопом». От такого же «остолопа» Чернышевского «никогда власти не дождалась <...> тех смиренно-просительных писем, которые, например, унтер-офицер Достоевский обращал из Семипалатинска к сильным мира сего», — констатирует с явным удовлетворением Набоков.

Но самая серьезная параллель — это, конечно, Ольга Сократовна и Марфинька. Вдова Чернышевского вспоминала: «Канашечка-то знал... Мы с Ивановым Федоровичем в алькове, а он пишет себе у окна». «Канашечку очень жаль, — замечает Набоков, — и очень мучительны, верно, были ему молодые люди, окружавшие жену и находившиеся с ней в разных стадиях любовной близости, от аза до

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ГЛАЗАМИ НАБОВОВА

К 170-летию со дня рождения критика-демократа

(1988): смотри, дескать, барин, и из тебя легко сделать карикатуру... Возможно, Вик. Ерофеевым двинуло слишком обостренным чувством социальной справедливости. Однако представление о Набокове как о сноб-аристократе столь же вульгарно, как сам снобизм. (Впрочем, еще одна русская особенность — придавать таким вещам, как богатство, сословная спесь, дом на Морской (или — на набережной) значение большее, чем они заслуживают.)

ПО УЗКОМУ ХРЕБТУ

Метод, используемый Набоковым при реконструкции биографии Чернышевского, заключается в том, чтобы стоять «как бы на самом краю пародии» и «пробираться по узкому хребту между своей пародией и карикатурой на нее, и главное, чтобы все было одним безостановочным ходом мысли». Наверное, хребет оказался слишком узким — широкий мазок, прописные буквы и восклицательные знаки милее русскому, по большей части партийному читателю. А ведь точно так же — хотя с ироничной, но безукоризненной корректностью — писал Набоков биографию Гоголя, и никто почему-то не возмущался! (Не нашлось отца Матвея, что ли...) Причем жизнеописание Чернышевского сам Набоков считал более удачным, поскольку оно основывалось «на более долгом и глубоком изучении предмета». «Что подумал бы об этом Чернышевский — другой вопрос, — говорит Набоков в интервью 26 июня 1969 года, — но на моей стороне по крайней мере простая истина документов». Произведения Чернышевского его смешили, но судьба — «трогала гораздо сильнее, нежели судьба Гоголя».

В 1928 году в Советском Союзе торжественно и громогласно отмечалось 100-летие со дня рождения критика-демократа, переплававшего самого Владимира Ильича. Раскаты юбилея слышны были и в эмиграции — возможно, они-то и послужили первоисточником для «Дара». Позже наверняка сыграла свою роль и статья Ходасевича, в которой приводились отрывки из дневника юного Чернышевского (наблюдение Джона Мальмстада). В «Даре» это выглядит так: Федор Годунов-Чердынцев покупает советский шахматный журналчик «8х8» (прототип — «64») и находит там заметку «Чернышевский и шахматы» (дело, судя по всему, происходит как раз в 1928 году). Знаменательная и симпатичная подробность — по воле автора Федор родился в один день с Чернышевским, 12 июля 1900 года...

Начав читать дневник Чернышевского («о котором он только и знал, что это был «циприц с серной кислотой» — как где-то говорит, кажется, Розанов, — и автор «Что делать?», путавшегося, впрочем, с «Кто виноват?»), Федор «пробежал, ушибнулся и стал снова читать с интересом. Забавно-обстоятельный слог, кропотливо вкрапленные наречия, страсть к точке с запятой, застревание мысли в предложении и неловкие попытки ее оттуда извлечь <...> серьезность, ясность, честность,

ны) — почти равноправно и (согласно гегельянству, заявленному здесь писателем) диалектично составляют «Жизнь Чернышевского».

Набокову (и Федору), например, «искренне нравилось, как Чернышевский, противник смертной казни, напав на высмеивавшее гнусно-благостное и подло-величественное предложение поэта Жуковского окружить смертную казнь мистической таинственностью...» (Владимир Дмитриевич Набоков выступал в I Госдуме в защиту закона, запрещающего смертную казнь.) И не зря Федор чувствует некий государственный обман в действиях «Царя-Освободителя» (подан в иронических кавычках!), которому «вся эта история с дарованием свободы очень скоро надоела <...> После манифеста стреляли в народ на станции Бездна...»

«...От всех этих набегов на прошлое русской мысли в нем развивалась новая, менее пейзажная, чем раньше, тоска по России, опасное желание <...> в чем-то ей признаться и в чем-то ее убедить...» Наивный Федор, чуть менее наивный Набоков!..

Разговоры вокруг Чернышевского в III главе — «прескучная, прости Господи, фигура!», «человек громадного всестороннего ума, громадной творческой воли», «ужасные мученья», «пощечина марксизму», «кому интересно, что Чернышевский думал о Пушкине?», «мой дядя был выгнан из гимназии за чтение «Что делать?» и т.п. Это первая обкатка темы, которая находит музыкальное разрешение (обращение) в эпиграфе к IV главе:

Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный,
все так же на ветру, в одежде
оживленной,
к своим же Истина склоняется перстам,
с улыбкой женскою и детскою
заботой,
как будто в пригорнице
рассматривая что-то,
из-за плеча ее невидимое нам.

Последние строфы сонета, начало которого (октава) эту главу и завершает.

Пожалуй, ни в каком другом своем сочинении Набоков не проявил столько заботы о том, чтобы быть понятым правильно. Вот сонет — начало и конец, конец и начало «Жизни Чернышевского». Вот пояснение к нему: всмотритесь: «Сонет — словно прегржающий путь, а может быть, напротив, служащий тайной связью, которая объяснила бы в с е, — если бы только ум человеческий мог бы выдержать оное объяснение». (Ум не выдержал.)

БЕДНЕНЬКИЙ МОЙ ЦИНЦИННАТИК!

Чернышевский, представленный Набоковым, — человек очень хороший. Да, он бестолков, нелеп, непрактичен, доверчив — но тем и трогателен (как, например, профессор Пнин). Он добросердечен, редко сердится. «Преподобная словесность в тамошней гимназии, он показал себя учителем крайне симпатичным: в неписанной классификации, быстротой и точно применяемой школьниками к наставникам, он причинял был к типу нервного, рассеянного

нева, Григоровича, Толстого... (Впрочем, тот «не оставался в долгу».)

Николай Гаврилович честен, он «прямой и твердый, как дубовый ствол». Возможно, поэтому «за все воздается ему «отрицательной сторичей». «Удивительно, как все горькое и героическое, что жизнь изготавляла для Чернышевского, непременно сопро-воздавалось привкусом гнусного фарса»...

И если уж так необходимо определить, на чьей стороне автор, то ясно, что на стороне Чернышевского, а не подлого правительств. Он даже находит остроумное и вполне убедительное объяснение тому, как возникла идея романа «Что делать?» — Чернышевский так настойчиво утверждал, что его дневник, изъятый при аресте, — просто вымысел беллетриста (эту подробность Набоков потом отдаст Гумберту), что сам поверил в это и начал писать роман в Алексеевском равелине. Вполне доброжелательно объясняет Набоков и подоплеку романа (который ему, мягко говоря, не нравился) — писался роман в тюрьме; «это было то русское недоброе уединение, из которого возникает русская мечта о доброй толпе»... Бедный, несчастный, безалаберный, безрассудный Чернышевский — роман присовокуплен к делу! «А все-таки нельзя без трепета трогать этот старинный (март 63-го года) журнал с началом романа; тут же и «Зеленый шум» («терпи покуда терпится»), и зубоскальный разнос «Князя Серебряного»...

Посмеиваясь над сравнением Чернышевского с Христом, чем грешили его друзья и биографы (особенно левые), сам Набоков вместе с Федором азартно ищет «евангельские вехи» в жизни своего героя: «И странно сказать, но... что-то было, — да, что-то как будто сбылось <...> Страсти Чернышевского начались, когда он достиг Христового возраста. Вот, в роли Иуды, — Всеволод Костомаров; вот, в роли Петра, — знаменитый поэт, уклонившийся от свидания с узником <...> когда он совсем умер, и тело его обмывали, одному из близких эта худоба, эта крутизна ребер, темная бледность кожи и длинные пальцы ног смутно напомнили «Снятие с креста» Рембрандта, что ли...»

Набоков писал о жизни Чернышевского и вдруг, в середине 1934 года, остановился, чтобы начать совсем другой роман — «Приглашение на казнь». Вот здесь-то, рассказывая о «бедненьком Цинциннатике», он нашел выход для всей той громадной, накопившейся жалости, которую вызывал у него славный шестидесятилетний, — «пробираясь по узкому хребту» заданного жанра, он не мог дать этому чувству полной воли. Путь Цинцинната тоже размечен «евангельскими вехами». Цинциннат так же худ, тощая спина, легкие кости. «Светлые жидкие усы» Цинцинната и «жидкая борода» Чернышевского. Легкость, беззащитная хрупкость облика... Цинцинната мы видим в халате, запачканном петлом, и в ермолке; Чернышевский — в халате, «запачканном даже сзади стеарином», и в картузе. Оба объявлялись гололовку. Им

жищу». Такой же несчастный муж и Цинциннат: «Между тем Марфинька в первый же год брака стала ему изменять; с кем пошло и где пошло. Обыкновенно, когда Цинциннат приходил домой, она, с какой-то сытой улыбочкой... говорила низким голубиным голоском: «А Марфинька нынче опять это делала». Он несколько секунд смотрел на нее, приложив, как жевищина, ладонь к щеке, и потом, беззвучно воя, уходил <...> и запирался в уборной, где топал, шумел водой, кашляя, маскируя рыдания». Вульгарность Ольги Сократовны («мушкетер», как она, улы, выражалась) сродни вульгарности Марфиньки. Вот Марфинька приходит к мужу в тюрьму, и «при ней неотступно находился очень корректный молодой человек с безукоризненным профилем»; а вот Ольга Сократовна приезжает к мужу в Сибирь — при ней жандармский ротмистр Хмелевский, «пыльный, пьяный и наглый», он, «виляясь, не отступал от Ольги Сократовны»...

Набоков и жалеет своих героев, и удивляется их терпению («Ну, втянул бы разок ремнем, ну, послал бы к чертовой матери... Так нет же!»), и восхищается безоглядностью и силой их любви. «Сквозь болезненно-обстоятельный эротизм» романа «Пролог», говорит он, «слышится нам такая дребезжающая нежность к жене, от которого малейшая из них цитата показалась бы чрезмерно глумливой». То же можно сказать и про воспоминания Цинцинната о теневых тайниках Тамариных Садов, где они с Марфинькой любили друг друга. Письма Чернышевского к жене — «желтый алмаз среди праха его многочисленных трудов. Мы смотрим на этот жесткий, некрасивый, но удивительно четкий почерк <...> и давольно не испытанное, чистое чувство, от которого вдруг становится легче дышать, охватывает нас <...> послушаем вот этот чистый звук: «Милая радость моя, благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя»... Цинциннат — Марфиньке: «И все-таки: я тебя люблю. Я тебя безысходно, гибельно, непоправимо — Покуда в тех садах будут дубы, я буду тебя...»

Близорукость Чернышевского (в прямом и переносном смысле) Набоков очень хочет как-то компенсировать и находит — как. «В своих сновидениях он зато смотрел зорче, и случай сна был к нему милостивее судьбы явной <...> Зоркой оказалась и память о той молодой, кривой тоске по красоте». То же и Цинциннат: «А ведь с раннего детства мне снились сны... В снах моих мир был благороден, одухотворен <...> проща говоря: в моих снах мир оживал, становился таким пленительно влажным, вольным и воздушным, что потом мне уже бывало тесно дышать прахом нарисованной жизни». «Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия»...

Итак далее, вплоть до финала «Приглашения на казнь», метафизически повязанного с гражданской казнью Чернышевского: «Мертвое тело повезли прочь... Нет, — описка, увы, он был жив, он был даже весел!»

Бедненький наш Цинциннатик... ■